



Г. ЕЛИСЕЕВ

«Наказ» императрицы Екатерины

О сочинении проекта нового уложения

<...> День издания «Наказа» был днем нашего действительного вступления в европейскую жизнь, нашего внутреннего приобщения к европейской цивилизации, днем, в который русские в первый раз получили право именоваться не *сиротами*, как они называли себя прежде в официальных актах, а гражданами. Петр только вырвал азиатский идеал, насильственно вдавленный в христианское государство окровавленными руками Ивана IV-го. <...> Один действовал во имя произвола и насилия, другой во имя закона и правды, тем не менее европейская цивилизация в руках Петра выглядела каким-то страшлищем среди его азиатских приемов и орудий. Екатерина в своем «Наказе» в первый раз совлекла с нее этот страшный образ и представила ее в привлекательном для всех виде, начертав вполне план того величественного здания, которое должно было воздвигаться на месте, расчищенном Петром. Выполнение этого плана, приложение идей, изображенных в «Наказе», к нашему законодательству и усвоение их общественною мыслию и деятельностью — вот что составляет с того времени лучшую сторону нашей государственной и общественной деятельности. Если бы назад тому сто лет великая жена не издала своего бессмертного «Наказа», то нет никакого сомнения, что не только мы, но и наши дети, быть может, не увидели бы еще тех великих преобразований, какие совершились в наши дни. Но и теперь, когда совершились эти преобразования, мы прошли только значительную часть екатерининской программы, но далеко еще не исчерпали ее содержания, в особенности если будем рассматривать ее не в ее внешнем только объеме, но в ее духе и направлении.

Многим может показаться странным, что мы даем такое великое значение нескольким лоскуткам бумаги, на которых набросаны были бессвязно, на скорую руку, разные мечтательные идеи, то есть именно то, что мы называем «Наказом», идеи, которые в свое время не нашли, по-видимому, никакого применения ни в законодательстве, ни в учреждениях, ни в жизни, и которые стоят в большем или меньшем несоответствии с последующими воззрениями и деятельностью самой императрицы.

Но те, которые думают подобным образом, забывают, что более или менее такова бывает участь всякой идеи, являющейся в первый раз в обществе. Ее обыкновенно пренебрегает, осмеивает, преследует большинство, и знамя ее несут только немногие избранные. Так часто сменяется много поколений до того времени, пока новоявившаяся идея успевает достигнуть общего признания и торжества. Но время непризнания и преследования идеи не есть погибшее для нее время, напротив, это есть время ее роста и распространения. <...>

Идеал, начертанный в «Наказе», данном императрицей, был очень высок. Императрица хотела новыми законами, составленными под влиянием этого идеала, дать такую полноту счастья своему народу, какую не пользуется ни один народ в мире. «Все сие, — писала она, между прочим, в заключение своего «Наказа», — не может понравиться ласкателям, которые по все дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако ж, мы думаем, и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Ибо, Боже сохрани! чтоб после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле; намерение законов наших было бы не исполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю!» И в самом деле, в «Наказ» вошло все, что было тогда придумано лучшего избраннейшими умами для государственного и общественного благоустройства; в основу его легли новые человеческие начала, выработанные философией XVIII столетия. В свое время «Наказ» гуманностью и либеральностью своих воззрений привел в изумление всю Европу, а во Франции, при первом появлении своем, был даже запрещен, как книга опасная для тогдашней французской политики¹. Но уже по одному этому можно судить, как начертанный в «Наказе» идеал был мало понятен для современного ему русского общества. <...> Естественно, что вскоре по обнаружении «Наказа» должна была обнаружиться вся неудобоисполнимость, даже совершенная невозможность

практического приложения его начал. Сама императрица, по мере ближайшего своего знакомства с делами управления, с людьми, ее окружавшими, с состоянием русского общества, вообще должна была встречать все более и более затруднений в осуществлении своих первоначальных идеалов, и постоянно уступая действительности, стать, наконец, в своей деятельности в известное с ними несогласие.

Многие, основываясь на том, что царствование Екатерины представляет мало похожего на то, что она обещала в своих первых манифестах и в особенности своем «Наказе», думают, что императрица Екатерина делала свои обещания с тем, чтоб никогда их не исполнить.

Мы никак не можем согласиться с таким мнением. Мы верим, как верили и все современники, что императрица Екатерина давала свои обещания вполне искренно, что первоначально она была совершенно убеждена в осуществимости тех идеалов, которые впоследствии признала неосуществимой мечтой. Мысль, что учреждения и законы, основанные на философских идеях, могут сделать народ счастливым, была тогда более или менее общей всюду в Европе и существовала при многих дворах. «Философ на троне» был идеалом того времени. Фридрих II, современник императрицы, гордился именем венчанного философа². Императрица, может быть, более, чем кто-нибудь из современных ей монархов, имела право смотреть на себя, как на воспитанницу философии. <...> Могла ли натура такая пылкая, восприимчивая, одаренная самой пламенной фантазией, какова была натура императрицы Екатерины, не увлечься грандиозною мыслию доставить счастье своему народу — мыслию, осуществление которой философия признавала вполне возможным? Юной принцессе ангальт-цербстской, едва вступившей на престол, полной силы, веры в себя, чувствовавшей свое нравственное превосходство над всем ее окружающим, не допускавшей и тени возможности своей внутренней зависимости когда бы то ни было от чьей бы то ни было воли, могло казаться не только вполне возможным, но и очень легким то, что впоследствии, по разным обстоятельствам, показалось не только очень трудным, но и вполне невозможным императрице.

И действительно, пересматривая заметки, написанные Екатериной в то время, когда она была еще великой княгиней и не могла думать о самостоятельном царствовании, заметки, которые она набрасывала, между делом, для себя собственно <...> мы видим, что уже в это время идеал монарха предносился ей тех же самых чертах и с теми же самыми стремлениями и иде-

ями, которые потом мы находим развитыми в «Наказе» в полном их очертании и ясности.

Приведем здесь некоторые из этих заметок.

«Общественное уважение приобретает не саном или не должностью; ничтожество лица, облеченного известным саном или должностью, унижает самое место, так точно, как достоинство другого возвышает место, им занимаемое, и никто без исключения не в состоянии избавиться от общественного суда, выражающего или презрение или уважение. Если вы хотите этого уважения, приобретите себе доверие, основывая все ваше управление на истине и благе общества. Если при этом природа одарила вас полезными талантами, вы сделаете блистательную карьеру и избегнете того смешного положения, в которое ставит великий пост людей без всяких достоинств, обнаруживая их ничтожество».

«Власть без доверия нации ничто для того, кто желает быть любимым и хочет славы. Он всячески постарается приобрести себе это доверие: для этого поставьте правилом всех ваших действий, всех ваших постановлений благо нации и справедливость, которые всегда неразрывны между собой. Вы не будете иметь и не должны иметь никакого другого интереса. Если ваша душа благородна, вот ее цель».

«Тот, кто не уважает достоинств, сам не имеет их; тот, кто не ищет достоинств и не умеет находить их, не достоин и не способен царствовать».

«Я не желаю, я не хочу ничего, кроме блага страны, в которой меня поставил Бог; он мне в том свидетель. Слава страны есть моя слава, вот мой принцип; и я была бы слишком счастлива, если бы мои идеи могли тому содействовать».

«Рабство есть гражданская язва, убивающая соревнование, индустрию, искусства, науки, честь и счастье».

«Противно христианской религии и справедливости делать рабами людей (которые рождаются все свободными). Собор дает свободу всем крестьянам (бывшим прежде рабами в Германии, Франции, Испании и проч.); обнародовать вдруг свободу всем, значило бы вооружить против себя всех поземельных собственников, полных упорства и предрассудков. Но вот средство легкое. Постановить, что на будущее время всякий может приобретать землю под тем лишь условием, что со времени приобретения земли новым владельцем все рабы должны делаться свободными, и так как в течение сотни лет переменятся все, или по крайней мере большая часть землевладельцев, то вот и свободный народ».

К подробному развитию и изъяснению этих своих мыслей в «Наказе» императрица была вызвана необходимостью. Вот как императрица в своем рассказе о первых пяти годах своего царствования разъясняет причины, заставившие ее предварительно издания законов приняться за изложение общих начал и идей законодательства и своих воззрений на этот предмет. «В первые три года царствования моего, — пишет она, — усмотрев из прошений, мне подаваемых, из сенатских и разных коллегий дел, из сенаторских рассуждений и прочих многих людей разговоров не единообразные об единой вещи установленные правила, что законы по временам сделанные (в соответствие тогдашних умов расположения), многим казались законами противоречащими, и что все требовали и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок — из сего вывела я у себя в уме заключение, что образ мыслей вообще, да и самый гражданский закон не может получить поправления иначе, как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вообще вещей правил, мною писанных и утвержденных. И для того я начала читать, потом писать Наказ комиссии уложения. Два года я читала и писала, не говоря о том полтора года ни слова, последуя единственно уму и сердцу своему с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи и чтобы довести до высшей степени благополучия всякого особенно. Предуспев по мнению моему довольно в сей работе, я начала казать по частям статьи, мною заготовленные, людям разным, всякому по его способности» и проч. Далее императрица рассказывает об отзывах, какие делали о ее «Наказе» разные лица, и о том, как предварительная комиссия, назначенная по ее выбору, из собравшихся депутатов для рассмотрения «Наказа», вымарала его наполовину. Наконец, сказав о пользе, какую доставила ей собранная из депутатов комиссия для составления уложения, императрица заключает свой рассказ кратким указанием на ту пользу, которую принес составленный ею «Наказ», в этой комиссии и вообще для общества: «Наказ комиссии уложения, — говорит она, — ввел единство в правила и в рассуждения, не в пример более прежнего: стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать»*.

Потребность нового законодательства стала чувствоваться со времени Петра Великого, и чем далее, тем с каждым днем делалась все более и более настоятельной. Вникнув в это дело, сама

* Библ. записки. 1861. Т. III. С. 510; Русский архив. 1865. № 4.

императрица увидела, что из разнородной массы указов и постановлений, данных в разное время и имевших характер чисто казуистический, создать никакого стройного законодательства было невозможно. Главное, чего не доставало для нового законодательства, — это единства начал, единства воззрений: каждый старый закон и постановление носили на себе печать *умов расположения*, как выражается императрица, своего времени. Но императрица видела, что этого единства начал и воззрений не существует и в живом, современном ей обществе, по отсутствию всякого более или менее объединяющего умы образования. Различные фракции, на которые русское общество распалось со времени Петра, были так противоположны друг другу по образу своих мыслей, что от них было невозможно ожидать какого бы то ни было соглашения по разным предметам законодательства. Раскольник во многом также бы резко стал противоречить истинно православному, придерживающемуся старинки, как последний стал бы противоречить поклоннику петровской реформы, а все они, хотя и не в одинаковой степени, отнеслись бы неблагоприятно к идеям, принесенным новым царствованием. Необходимо было указать общие начала законодательства, которые бы, сдерживая в пределах партикуляризм фракций, развивали и объединяли умы и служили им руководящей нитью при разработке разных законодательных вопросов. Проницательный ум императрицы весьма справедливо решил, что не только гражданский закон, но и *самый образ мыслей* ее подданных *не может иначе получить поправление, как установлением общих для всех и относительно всех вещей правил, ею самую изданных и утвержденных*. По различным причинам собрание депутатов не выполнило законодательной задачи, для которой оно было созвано. Но уже при его первоначальных работах императрица имела удовольствие видеть, что труд ее над составлением «Наказа» был не бесплоден, что «Наказ» был годен для той цели, для которой был написан: *ввелось единство в правила и в рассуждения*, — говорит она, — *не в пример более прежнего, стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах...* Но это было только началом того развивающего и объединяющего действия на умы, какое суждено было иметь «Наказу» в нашем законодательстве и обществе. <...>

Немедленно по восшествии на престол императрица издает манифест, в котором не только не скрывает произведенного ею печального переворота, напротив, рассказывает полную его историю и затем прямо говорит, что она самым делом докажет, что она достойна любви того народа, для которого почитает

себя возведенной на престол и потому «наиторжественнейше обещает своим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтобы и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповает предохранить целость империи и самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству сынов вывести из уныния и оскорбления»³.

Через 12 дней после этого манифеста, именно 18 июля 1762 года, последовал второй манифест о лихоимстве, в котором, изображая самыми яркими красками жалкое состояние правосудия в империи от низших до самых высших правительственных мест, императрица снова упоминает о том перевороте, посредством которого она взшла на престол, и говорит, что этот самый переворот должен служить залогом, что она не потерпит ни в ком лихоимства, что для совершенного ею переворота не было бы никакого оправдания, если и в ее царствование не будет правды в судах⁴.

19 октября того же года последовал указ об уничтожении тайной канцелярии. Объяснив в начале указа, что к основанию этого учреждения побудили Петра Великого только особенные случайные обстоятельства и грубые еще нравы того времени, императрица говорит, что после него существованием этой канцелярии «только подавался способ злым, подлым и бездельным людям или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же злостными клеветами обносить своих начальников и неприятелей. Мы, — продолжает императрица, — последуя нашему человеколюбию и милосердию и прилагая крайнее старание, не только неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самых истязаний защитить, но паче и самым злонравным пресечь пути к приведению в действие их ненависти, мщениа и клеветы, а подавать способы к их исправлению — повелеваем: тайных розыскных дел канцелярии не быть и оную совсем уничтожить, а дела, буде иногда такие случатся, кои до сей канцелярии принадлежали бы, смотря по важности, рассматриваны и решены будут в сенате»⁵.

11 февраля 1763 года императрица остановила манифест Петра III о вольности дворян и назначила особенную комиссию для рассмотрения крестьянского дела⁶, и только с лишком через двадцать лет, то есть в 1785 году последовало издание дворянской грамоты.

14 декабря 1766 года издан был манифест о созвании депутатов со всего государства для составления нового уложения⁷. Как комиссия для составления уложения, так и депутаты, в нее созванные, имели совершенно другое значение, чем прежде бывшие земские соборы и депутаты, на них собиравшиеся. Земские соборы созывались для выслушивания нужд разных местностей, и депутаты присутствовали на них в качестве государевых сирот, как они обыкновенно называли себя, призванных рассказать о своем горе. Комиссия для составления уложения обладалась законодательным правом, и каждый депутат уполномочивался участием в этом праве. «Сих депутатов, — пишет императрица в своем манифесте, — мы созываем не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они имеют быть в комиссию, которой дадим наказ и образ управления для заготовления проекта нового уложения, к поднесению нам на конфирмацию». Всем депутатам были дарованы особенные преимущества. «Во всю жизнь свою, — так определила императрица, — всякий депутат свободен, в какое бы ни впал прегрешение: 1) от смертной казни, 2) от пыток, 3) от телесного наказания. Как все депутаты, — продолжает императрица, — суть под собственным нашим охранением, то без нашей конфирмации никакой суд в замене вышеупомянутых трех статей, до их особы касающейся, не должен исполнять без доклада нам, а дожидаться на то нашего приказания. Имения их от дня выбора всякого депутата освобождаются от конфискации во всех случаях, кроме за долги. Кто же на депутата, пока уложение сочиняется, нападет, прибьет его или убьет, тому учинить вдвое против того, что в подобных случаях обыкновенно». Как все помянутые нами выше указы и манифест ничем решительно не вынуждались, так точно ничем не вынуждались ни собрание депутатов, ни издание «Наказа». Напротив, относительно собрания депутатов императрица встретила сильное возражение даже в образованнейших людях того времени. Однако же она настояла на своем.

Предположить, что императрица, давая помянутые нами манифесты и свой «Наказ», не думала об исполнении ничего этого, значило бы предположить, что императрица намеренно приготавливала себе нарекания, неудовольствия и, пожалуй, волнения для последующих лет своего царствования. Вероятно ли это? Заметим при этом, что «Наказ» немедленно по издании получал по воле императрицы если не силу закона, то силу руководства для присутственных мест при решении дел.

<...> Литература, как общественная сила, в своих начатках является у нас только при Екатерине. Екатерина вызвала, ободрила ее не только своим «Наказом», но и своим личным участием и примером. Вызывать литературу, как общественную силу, императрица также ничем не вынуждалась! Но что она имела действительно это намерение, что она первоначально желала привлечь литературу именно к обсуждению серьезных общественных вопросов, это всего лучше доказывается тем сатирически-обличительным направлением, которое она дала литературе. Не ее вина, если литература по крайней своей молодости не поняла широты своей задачи или не в состоянии была выполнить ее и, сосредоточившись на исключительно подручной ей обличительной форме жестким прикосновением к болезненным ранам своего времени, раздражила умы и задушила себя. Мы говорим: задушила себя, ибо по собственному ли личному желанию императрица остановила в начале семидесятых годов свободное развитие нашей сатиры, или вследствие сторонних обстоятельств, имевших <...> значительное влияние на ее деятельность, решить в настоящее время трудно.

<...> Но если деятельность императрицы в одном направлении представляется очень прогрессивной, стремящейся провести в жизнь самые светлые воззрения, то рядом с ней, в одно и то же время, идет другая деятельность, несколько непохожая на нее, стоящая даже в прямом с ней противоречии. В этом отношении в особенности выдается деятельность императрицы по самому горячему вопросу XVIII столетия — закреплении крестьян в России за помещиками. Потому мы войдем здесь в некоторые подробности по этому делу.

Петр I, не разрешив ненавистного народу прикрепления к земле, введенного Годуновым, и неизбежно соединенного с этим прикреплением несвободного отношения к владельцам, помирил народ с этим положением тем, что поставил прикрепление крестьян в тесную зависимость от службы их владельцев государству. Только тот помещик мог владеть населенной землей, который служил государству; кто не хотел служить государству, тот по этому самому лишился права владеть поместьями, хотя бы они были и родовые или приобретены им покупкою. Вследствие такого строгого обусловления владельческого права служебными отношениями владельцев к государству у крестьян образовалось убеждение, что они прикреплены к помещикам только временно, по нуждам государства, с прекращением которых они получают свободу. Уже современник Петра Посошков говорил: «Крестьянам помещики не вековые владельцы,

того ради они не весьма их берегут; а прямой их владетель российский самодержец, а они владеют временно». С этого времени начинают ходить и рассеиваться в народе то и дело ложные слухи об имеющем вскоре последовать освобождении крестьян от помещиков. Когда Петр III 18 февраля 1762 года издал манифест или дворянскую грамоту, освобождающую дворян от всякой обязательной службы государству, то народ взглянул на этот манифест как на начало и крестьянского освобождения. Думали, что вскоре за этим манифестом последует другой, освобождающий крестьян от прикрепления помещикам. Распространились слухи, что такой манифест о свободе крестьян уже издан, но его скрывают от народа. Вследствие этого в некоторых местах крестьяне явно стали отказываться от повиновения помещикам, ссылаясь на слухи о своем освобождении. В некоторых местностях начались восстания крестьян. Для прекращения их императрица Екатерина, вскоре после вступления своего на престол, именно 11 февраля 1763 года, приостановила, как мы видели уже, действие манифеста о вольности дворянства, назначив для рассмотрения этого вопроса особую комиссию, и вопрос о том, быть или не быть крепостному праву в России оставался в колебательном положении в течение с лишком двадцати лет.

Сама императрица находилась по отношению к крестьянскому вопросу под двойственным влиянием. Против крепостного права говорили ей ее внутреннее убеждение, ее воспитание, современная наука, друзья-философы, наконец, слава законодательницы. За крепостные права стояло страшное *status quo*, и интересы всех окружающих ее вельмож, всего дворянства, с которыми бороться было нелегко. Нет сомнения, что императрица в принципе совершенно отвергала крепостное право. Но этот принцип в чистом виде она не решается высказать даже на бумаге. Она могла заявлять его только косвенно. Так, в 1766 году, то есть в год первого манифеста о созвании комиссии для составления нового уложения, она предложила в Вольно-экономическом обществе конкурс с назначением премии за лучшее сочинение по вопросу: «что полезнее для общества: чтобы крестьянин имел собственную землю, или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение продолжаться должны?» В «Наказе» также самыми яркими красками изображается жалкое положение крестьян, происходящее от бесчеловечия и небрежения помещиков, и настаивается на необходимости улучшения их быта. Но в действительных узаконениях и распоряжениях, которые начали приводиться в исполнение

почти с самого начала ее царствования, не видно даже и такой легкой уступки в пользу принципа. Напротив, крестьяне с каждым днем все более и более лишались своих гражданских прав и отдавались в полную волю помещиков. Так, указом 1765 года от 17 января помещикам дано было право ссылать своих крепостных людей в каторжную работу на столько лет, на сколько пожелают помещики⁸; указом от 28 января следующего года помещикам подтверждено право ссылать крестьян и дворовых людей в Сибирь на поселение за продерзости⁹. От 30 января того же года подтверждено помещикам право отдавать крестьян и дворовых людей в рекруты в зачет, в какое угодно время¹⁰. Указом 22 августа 1767 года у помещичьих крестьян отнято право приносить жалобы на своих владельцев¹¹.

Таким образом, в то самое время, когда императрица возбудила в Вольно-экономическом обществе вопрос о свободе и собственности крестьян, в то самое время, когда в «Наказе» она настаивала на улучшении их жалкого состояния, в действительности она лишала их и тех скудных остатков собственности, свободы и благосостояния, какие они имели доселе, и передавала в качестве вещей в полную власть помещиков. Противоречие ужасное, возмущающее! Для нас, находящихся совершенно в других общественных условиях, это противоречие представляется неразрешимым. Нам совершенно непонятно: чем могла вызываться такая странная двойственность в деятельности самодержавной императрицы? Но выслушаем, что говорит сама императрица о той обстановке, в которой она находилась.

Никто не будет спорить, что нигде императрица не имела столько прав следовать своему собственному, независимому образу мыслей, как в воспитании своего сына. Она имела на это право как мать, как императрица, наконец, как женщина отлично образованная, по своему развитию и знаниям стоявшая выше всех ее окружавших. Императрица желала сделать воспитателем своего сына Даламбера. Но когда он отказался, воспитание наследника престола было поручено графу Н. И. Панину. По-видимому, выбор пал на человека, вполне способного и достойного. Граф Н. И. Панин принадлежал к просвещеннейшим людям прошедшего столетия, пользовался репутацией серьезного, честного и образованнейшего человека между современниками. Когда кончено было воспитание, императрица наградила Панина так, как едва ли когда был награждаем какой-нибудь воспитатель наследника престола. По-видимому, императрица была вполне довольна воспитанием сына. Однако ж, когда пришло время воспитывать внука, императрица снова

обратилась к иностранцам, и выбор пал на известного женева Лагарпа, одного из честнейших, благороднейших и образованнейших республиканцев прошедшего столетия. Впоследствии, когда под руководством этого достойного человека оканчивалось воспитание старшего внука императрицы, то есть покойного императора Александра Павловича, императрица, раз любуясь его моральным и физическим развитием, сказала Храповицкому: «Какая разность между воспитателем его и отца. Там не было мне воли сначала, а после, по политическим причинам, не брали от Панина. Все думали, что если не у Панина, так он пропал» *.

Из этого ясно видно, что была сила, от которой императрица себя чувствовала зависимой, которая препятствовала ей в исполнении ее лучших намерений.

Какая же была эта сила?

Эта сила была то страшное *stato quo*, в борьбе с которым Петр I принес столько кровавых и жестоких жертв. Конечно, *stato quo* екатерининского времени было совсем не то, что *stato quo* петровского времени. Пред Екатериной стояли уже люди в европейских мундирах, петровские птенцы, которые не только не шли против европейской цивилизации, а напротив, гордились тем, что они стоят в ряду ее защитников и охранителей. К сожалению, их понимание европейской цивилизации было узкое и мелкое, в большей части случаев не простиралось далее знания пунктов военного артикула, вообще же ограничивалось одной ее внешней, материальной стороной. На цивилизацию смотрели только как на средство усвоить нужные в государственном обиходе мастерства и ремесла. И так как путь для таких приобретений был расчищен, средства обеспечены, то им казалось, что у иностранцев более заимствовать нечего. Петровские птенцы оказались такими же ретроgrадами, какими были люди допетровской старины, с тем только различием, что последние не понимали тех идей современной науки, тех гуманных начал, которые хотела насадить Екатерина в обществе. Началась опять борьба против иностранного влияния, которая усиливалась наступившей после Петра III реакцией против иностранцев вообще, успевших во время Бирона и Петра III возбудить к себе ненависть во всем русском образованном обществе и народе своей жестокостью, пренебрежением к русским нравам и обычаям, посягательством на самую веру. Упорство этой борьбы по отношению к крестьянскому вопросу увеличи-

* Записки Храповицкого. С. 291.

вал личный интерес помещиков. До нас дошло замечательное сочинение по крестьянскому вопросу, написанное, по-видимому, перед самым изданием Екатериной грамоты дворянству, то есть в конце 1784 или начале 1785 года, под названием: «Размышление о неудобствах в России дать свободу крестьянам и служителям или сделать собственность имений» *. Над сочинением трудился человек образованный и сведущий, но до мозга костей проникнутый интересами сословия, и потому глубоко негодующий на все либеральные и гуманные начинания императрицы.

Мы уже сказали <...>, что вследствие манифеста, изданного Петром III о вольности дворянства, начались крестьянские восстания в разных местностях. Когда императрица приостановила действие этого манифеста, восстания утихли, но потом, когда императрица стала издавать вышеисчисленные нами указы, лишавшие крестьян всяких прав, даже права приносить справедливые жалобы на помещиков, — эти восстания снова начались и, наконец, помогли пугачевскому бунту развиваться до громадных размеров. Автор сочинения, напротив, причину всех крестьянских восстаний и даже пугачевского бунта видит в либеральных стремлениях императрицы, в данной ей на конкурс задаче о собственности крестьян, в созвании комиссии для составления Уложения, а крестьянские восстания после пугачевского бунта приписывает тому, что участвовавшие в этом бунте были не довольно строго наказаны.

«С 1766 года, — так начинает автор свое размышление, — то есть с того времени, как прислана была задача в вольное экономическое общество, состоящая: “что полезнее для общества — чтобы крестьянин имел собственностью землю или токмо движимое имение, и сколько далеко его права на то или другое имение простирались должны”, мы можем положить эпоху расторжения связи, многие века пребывающей между крестьян и их владетелей. Колико в умеренных словах сия задача ни была изъяснена, и единственно яко вопрос предложена, но подала случай к разглагольствию, ко вмешанию мыслей мятежных и неподвластию. В бывшей 1767, 1768 и 1769 году комиссии о сочинении Уложения неосторожно предлагаемые мнения от господ депутатов, а паче от Коробьина¹², всеяли паче сию заразу в сердца низких людей, тут находящихся депутатами, и тщетно весьма разумное на задачу учинил решение Беарде де-ла-Бей¹³; тщетно многими лучшими сынами отечества совсем испровер-

* ЧОИДР. 1861. Кн. III.

жено было мнение г. Коробьина; упившиеся сердца лестным ядом сим не могли вкусить представляемого им лекарства, и дух неподданства и разврата в грубые и несмысленные души вкоренился, зарождающийся от разных несправедливых слухов и от разглагольствий крестьянских однодворческих, старых служб и других низких чинов депутатов, которые, по разъезде своем, семена сии злые и в отдаленнейшие области России распростерли. Еще прежде роспуску сей комиссии, а только по нескольких месяцах после означенной задачи, 1767 год учинился примечателен в России убиением многого числа господ от их подданных, а по роспуске депутатов и вящее зло произошло присоединением почти всех крестьян, которым только малейший случай был, ко врагу отечества и государя, к самозванцу Емельке Пугачеву, не токмо в некоторых провинциях, но в немалой части нашего пространного отечества: разрушилась верность к государю, полилась кровь гражданская, опустошились грады и селения и тысячи семей дворянских, верных сынов отечества, коих предков кровь текла для распространения и успокоения оногo в тех самых странах, кои они скиптру российскому покорили, мучительной и позорной смертью истреблены стали. Невинная их кровь от руки злодеев, прежде благодетельствованных ими, пролиенная текла ручьями; трупы их растерзанные, непогребенные предались в снедь диким зверям и хищным птицам: жены и дочери их впали в поругание злодеев. Се зрели мы, се зрели мы победоносное российское оружие, упоенное кровью врагов России и христианских, против единоплеменных своих обращенное, точащее, можно сказать, собственную свою кровь. Недавно прошедшее время после сего зла у нас еще в свежей памяти находится, и, может быть, поздние историки не будут и ведать того, что зараза сия, дух бунту тщетной надежды и неподданства не токмо был в тех, которые явными злодействами развратность свою оказали, но и почти во всех других крестьянах, которые только ожидали случая подобные ж преступления чинить. Таковое, можно сказать, почти всеобщее преступление, кажется, долженствовало бы, если бы они и право имели в вольности и собственности, на немалое время их оногo лишить, и если бы не были рабами. Предать их в рабство, дондеже искоренятся злые семена из сердца их. Но не входя в мысли правительства, *ни в упущенное им наказание, потщуся я*», — так заключает автор вступление в свое «размышление — о вольности и собственности крестьян и дворовых рассмотреть» и проч.

Восставая далее против тех гуманных воззрений, в силу которых еще со времени императрицы Елизаветы уничтожена смертная казнь и стали смягчаться вообще наказания, а вследствие того, по замечанию многих, стали уменьшаться повсюду разбои, автор сочинения говорит, что «не от того разбои уменьшились, что уменьшились наказания — чудное предположение, якобы можно пожар тем унять, что огонь не заливать; но уменьшились они от того, что учинилась слабее отставка», то есть, что легче стало дворянам получать отставку от службы, и что, поселясь в своих поместьях, они озаботились истреблению разбоев.

Не отрицая в заключение своего «размышления» того, что между помещиками есть люди безумные и сами себе злодеи, которых надобно обуздывать, автор говорит, что «лучшим средством для укрощения нравов и смягчения сердец помещиков пусть послужит распространившееся просвещение разумов и чистое нравоучение. Ибо, если, — продолжает автор, — по разлитию просвещения и нравоучения в Европе, не видим мы уже ни Христернов, ни таковых государей, каков был Лудвиг Первойнадесять¹⁴, когда Азия и Африка позорище бесчеловечия представляют, а Европа среди благоустройства и милосердия покоится, когда просвещение проникло в самую сераль турецкого императора, а Порта Оттоманская не столь щедра стала в рассылании удавков своим визирям, то если, говорю я, просвещение и нравоучение воздействовали над такими лицами, которые, к несчастью нашему, не подвластны ничему себя почитают, если во врата, хранимые самовластием, распутством, гордостью, лестным честолюбием и мезтью, они проникли и сердца сих властителей света могли умягчить, то как не умягчат они сердца подданных, претерпевающих все нужды звания своего и по собственным своим чувствам, ощущающих чувства и нужды низших себя?»

Читатель видит, какое сильное раздражение и озлобление водит пером автора. Но мы заметили выше, что автор писал накануне окончательного закрепления крестьян дворянской грамотой. Следовательно, ни задача Екатериной крестьян во владение разным частным лицам, ни различные помянутые нами указы ее, которыми крестьяне передавались в полную волю помещиков, ничто не удовлетворяло последних до издания дворянской грамоты. Каково же было, спрашивается, раздражение и озлобление между помещиками в то время, когда императрица, остановив манифест Петра III о вольности дворянства, предложила на конкурс вопрос: «о свободе и собствен-

ности крестьян», издала свой «Наказ», создала комиссию для составления уложения!

Императрице трудно было вести борьбу с противодействующей ей силой. Самый переворот, посредством которого она взшла на престол, должен был удерживать ее от всяких радикальных реформ, касавшихся существенных интересов сильной партии; он же заставлял ее быть крайне осторожной и крайне уступчивой и в других своих либеральных начинаниях. Императрица со своими высокими стремлениями и идеями стояла слишком одинокой, в особенности в начале своего царствования в том обществе, среди которого и при помощи которого и могла только действовать, чтобы действовать с успехом.

Против нее было большинство так называемого образованного общества: одни потому, как мы сказали уже, что не видели потребности в идеях и началах, провозглашаемых императрицей, не понимали их; другие, потому, что находили эти начала и идеи опасными и гибельными для своего личного интереса. Но не за нее, не за императрицу было и лучшее меньшинство образованного общества, то меньшинство, которое и понимало, по крайней мере отчасти, новые идеи и начала, понимало их потребность для общества, и, может быть, было не прочь принести в жертву свой личный интерес для общего благосостояния, но которое страшилось выступить на опасный и скользкий путь, неуверенное в успехе дела. Оно не стало бы противодействовать начинаниям императрицы, но оно и не готово было стать за них грудью, со всем пылом внутреннего убеждения и одушевления. Оно находилось по отношению к ним в колебательном состоянии.

Почва для действия была очень шаткая, непрочная. Ибо политическое развитие даже в лучших людях было очень слабое, ничтожное. <...>

Однако ж <...> именно такого общественного участия и сочувствия к своим начинаниям, искала императрица в современном ей обществе и литературе, и не нашла ни в том, ни в другой. <...>

Вольно-экономическое общество, основанное, вероятно, по инициативе императрицы за год до собрания депутатов, находилось под особенным ее покровительством. В числе членов его были очень близкие к императрице лица. В это именно общество императрица прислала, как мы сказали уже, задачу на конкурс о поземельной собственности крестьян. Но чтобы члены общества не стеснялись в своих постановлениях, а участвующие в конкурсе в решении задачи, дело было облечено в та-

кую форму. 1766 года ноября 1 дня, в Вольно-экономическое общество прислана была от неизвестной особы тысяча червонцев «на такое употребление, какое оно заблагорассудит», при письме, в котором предлагался на обсуждение сказанный вопрос. Вольно-экономическое общество положило для решения вопроса учредить конкурс, назначив за лучшее сочинение, которое будет представлено по этому вопросу к 1 ноября следующего года, премию в сто червонцев и золотую медаль. Чтобы дать как можно более огласки делу, произвести в нем как можно более разговоров и толков, к публикации Вольно-экономического общества о конкурсе была прибавлена еще следующая публикация: «ее императорское величество всемилостивейшая наша государыня о патриотическом усердии неизвестного предложителя изображенного выше сего вопроса толикое изволила оказать благоволение, что высочайше повелела тому, кто объявит о себе и докажет, что при предложении оного вопроса прислал 1000 червонных в экономическое общество, дать 2000 червонных».

Из 164 сочинений, поступивших на соискание, лучшими признаны были два: сочинение Беарде Делабей (Bearde de l'Abbaye), доктора церковных и гражданских прав из Ахена, с девизом: «in favorem libertatis omnia jura clamant, mais est modus in rebus», т. е. в пользу свободы говорят все права, но всему есть мера; другое — русского юриста, костромского дворянина А. Я. Поленова с девизом: «plus boni mores valent, quam bona leges», т. е. хорошие обычаи имеют более силы, чем хорошие законы.

Оба писателя в общем окончательном выводе сходятся между собой, именно тот и другой говорят, что крестьянам следует дать собственность, но не прежде, как предварительно воспитав их для этого владения собственностью. Но в частности есть большое различие. Беарде Делабей незнаком с русскими отношениями. Он пишет по чистому увлечению идеей. Ему, как доктору прав и при этом еще и сельскому хозяину, или по крайней мере как человеку, интересовавшемуся устройством сельского хозяйства, как видно это из его сочинений, приятно было думать, что в таком огромном государстве, как Россия, может со временем образоваться, по его плану, сплошная масса свободных крестьян-собственников, предварительно тщательно приготовленная и испытанная в умении вести сельскохозяйственное дело. Поэтому он предлагает каждого крестьянина, как скоро он прошел предписанный им искус, делать немедленно свободным и наделять его поземельной собственностью без всяких условий.

Русский юрист оказывается в этом отношении потуже. Он тоже предоставляет землю в распоряжение крестьян не иначе, как после приготовления их к тому посредством предписанного им искусства, но не безусловно, а 1) за определенную повинность в пользу помещика; 2) на праве наследственного только пользования землей, а не владения ею, т. е. без права отчуждать ее каким бы то ни было образом и 3) с предоставлением помещику права отнимать у крестьянина данную ему землю, если бы крестьянин, сверх всякого чаяния, и по искусству оказался неисправным. «Каждый крестьянин, — говорит Поленов, — должен иметь довольно земли, для сеяния хлеба и паствы скота и владеть оною наследственным образом так, чтобы помещик нимало не имел власти угнетать каким-нибудь образом, или совсем оную отнимать, т. е. пока крестьянин исправно будет наблюдать все свои должности; ибо иначе можно его в наказание лишить сих выгод, как недостойного и снабдить оными другого. Однако, прежде нежели помещик может сие сделать, то дело должно быть рассмотрено в приличном суде.

Наследственное сие в землях право не должно к невозвратному владельцев вреду и великому их разорению так далеко простираться, чтобы крестьянин был в состоянии данной от другого земель располагать по произволению; довольно, ежели он ею может невозбранно и беспрепятственно пользоваться и от того себе получить пропитание. Для сей причины не дозволяется ему, под каким бы видом он ни хотел сие сделать, продавать свою землю, или дарить, или закладывать, или разделять между многими детьми, но по смерти один из сынов будет оною владеть; таким образом, помещик всегда удержит свое право, а крестьянин свободно будет пользоваться дозволенными ему выгодами». Говоря проще, русский юрист хотел только улучшить крепостное состояние крестьян, устранив из него по возможности все существовавшие злоупотребления.

Но это улучшение крепостного состояния или, что то же, устранение из него злоупотреблений могло произойти, по предложению Поленова, не иначе как по доброй воле помещиков. Поленов предлагает испытывать свой проект исключительно на дворцовых и государственных крестьянах, не касаясь крестьян помещичьих. Они находятся в том убеждении, что когда помещики увидят добрые плоды новых порядков, то не преминут и своих крестьян повести по тому же пути. «Известно, — говорит Поленов, изложив свой проект, — что сего вдруг без всякой опасности произвести в действо не можно, и многими примерами уже подтверждено, сколь далеко в подобных случаях про-

стирается неистовство подлого (т. е. простого, по старинному словоупотреблению) народа; и так бесполезно принять такие меры, которые, не нарушая общего покоя, могли бы всем ясно показать, что сии намерения клонятся к собственному их благополучию.

Прежде, нежели можно что начать в рассуждении этой перемены, то я за полезное признаю приготовить наперед крестьян чрез воспитание, под предводительством благонравных церковников производиться имеющее; по учинении чего с надлежащею точностью, во-первых, должно, зачав, для показания примера дворянству, с дворцовых и государственных крестьян, из которых вознаграждать сими выгодами только рачительных и добрых крестьян, а ленивых и злонравных до сих преимуществ не допускать; но дав время к исправлению, увещевать возможным образом, дабы отвратить от худой жизни и для большего поощрения предлагать им те же выгоды, ежели только исправятся. Дворянство, до которого особливо касается сие дело, нимало к сему не принуждать, ибо каждый из них, будучи убежден собственной пользой, с доброй воли согласится ввести у себя такие учреждения, которые, не причиняя ему ни малейшего вреда, служат к благополучию таких людей, о сохранении которых человеколюбие и собственная его польза повелевают ему прилагать всевозможное попечение» *.

Читатель видит, что проект Поленова, в сущности, не вводил никаких перемен в существовании крепостного положения. Он никого и ни к чему не принуждал, никого ни к чему не обязывал, все улучшения крестьянского быта предоставлял доброй воле и усмотрению помещиков. Если бы проект Поленова был принят и введен в дело, то крепостное право могло бы преспокойно себе существовать бесконечные лета в тех же самых формах и проявлениях, в каких оно существовало до нашего времени. Ибо от воли каждого помещика зависело принять и ввести те улучшения, какие усмотрел бы он в быте государственных и дворцовых крестьян, или не обращать на них вовсе никакого внимания и продолжать жить на прежнем основании.

Кажется, проект был для всех безобидный и не угрожал ничьим интересам. Этим он очень должен был нравиться боль-

* Все эти, равно как и последующие сведения о Поленове, читатель найдет в «Русском архиве» за 1865 № 2, 4, 5 и 6. Нам странно, что редакция «Русского архива» в примечании к сочинению Поленова находит какое-то сходство между проектом Поленова и Положением 19 февраля. Скорее тут можно говорить о бесконечной разнице воззрений, лежащих в основании того и другого памятника.

шинству; по этой же, мы думаем, причине он понравился и членам Вольно-экономического общества, опасавшимся всяких крутых нововведений, и они одобрили его наравне с проектом Беарде Делабея. Однако ж предпочтение оказали последнему. Почему?

Особый комитет, составленный при Вольно-экономическом обществе, для рассмотрения 164 сочинений, поступивших на соискание премии, представил обществу о сочинении Поленова такой отзыв: «Российская пьеса, под № 148, с девизом: “*plus boni mores valent, quam bonae leges*”, хотя из некоторых членов нашего комитета и признана за лучшую и основательнейшую после № 154 (т. е. сочинения Беарде Делабея), почему следовало бы ей дать “*accessit*”, но другие, рассмотря сверх материи и самый слог, находят в оном многие под меру сильные и, по здешнему состоянию, неприличные выражения и потому за нужное признают, что если кому в собрании знаком автор, то чрез него велеть ему немедленно оное исправить и тогда его пьесу также включить во второй класс и удостоить определенных тому классу преимуществ, кроме печатания».

В заседании 23 апреля 1768 года общество положило: означенное сочинение признать удовлетворительным, однако оно не печатать. Когда затем Поленов письмом уведомил общество, что сочинение с девизом: *plus boni mores* и проч. принадлежит ему, тогда в заседании общества, июля 1768 года, было положено: наградить его золотой медалью в 12 червонных, с прописанием на оной имени автора.

Итак, сочинение Поленова удостоено меньшей премии за резкость и неприличие выражений! Читатель напрасно бы, однако ж, стал искать чего-нибудь подобного в сочинении Поленова. Оно написано самым умеренным и спокойным тоном. Уж если кого можно было обвинить в резкости и неприличии выражений, то скорее всего Беарде Делабея, у которого действительно можно найти местами некоторую резкость. Так, например, доказав, что только свободный труд доставляет действительный прибыток и совершается с удовольствием, а труд несвободный, доставляя пользу сомнительную, притом без палки и немислим, Беарде Делабей продолжает: «Наказание столь же тягостно тому, от кого происходит, когда он имеет душу чувствительную, сколько болезненно для того, кто наказывается. Знаю, что есть люди жестокосердного, лютого, свирепого, варварского и кровожадного нрава; знаю, что есть столь злые, что, муча других людей, чувствуют из того некое себе удовольствие. Не намерен я простирать речь свою к сим чудовищам, безбожием

своим человечество посрамляющим. Пусть сии тигры грызут, терзают несчастливые жертвы их неистовства, доколе Бог мститель не поразит их самих» * и проч. Никаких подобных взрывов бурного красноречия нет в сочинении Поленова. Он, как мы уже заметили, говорит умеренно и спокойно.

Однако ж взрывы бурного красноречия Беарде Делабея не тронули комитета, а простая речь Поленова произвела на него неприятное впечатление. Это потому, что Беарде Делабей был, как мы заметили выше, незнаком с нашими отношения; его красноречие было для нашего общества слишком отвлеченное, простая же речь Поленова слишком верно изображала существующие отношения и слишком жестко прикасалась к некоторым очень больным местам. Так, предоставляя своим мирным проектом процветать крепостному праву на бесконечные лета, Поленов требует от него, однако ж, и кой-каких жертв, немедленно, лишения права продавать семьи враздробь. «Прежде всего должно помышлять, — говорит он, — чтоб для славы народа и пользы общества вывести производимый человеческой кровью бесчестный торг. Мы в сем случае, не делая нисколько разницы между неодушевленными вещами и человеком, продаем наших ближних, как кусок дерева, и больше жалеем наш скот, нежели людей. Сие должно неотменно уничтожить и нисколько не смотреть, какие бы кто ни представлял причины. Довольно, что благосостояние общества того требует, и особенно малого числа людей польза ежели можно то назвать пользой, что к собственному их вреду клонится, не должно быть принимаемо в рассуждение. Я не разумею здесь конечное запрещение: но кто намерен продавать, то должен продавать все вместе и землю, и людей, а не разлучать родителей с детьми, братьев — с сестрами, приятелей — с приятелями: ибо не упоминая о прочих несходствах, от сей продажи порознь переводится народ, и земледелие в ужасный приходит упадок».

Бесчеловечие и варварство такой продажи, как продажа семей враздробь, для нас очевидно, но это совсем не так было очевидно для наших соотечественников XVIII столетия. Мы увидим ниже, что даже образованнейшие из них не только не стыдились вести подобного торга, но и отстаивали его, как законный источник своих доходов. Понятно, что при таком воззрении требование, заявленное Поленовым о немедленном запрещении продажи людей без земли, не могло нравиться не

* ЧОИДР. 1862. Кн. XI.

только большинству, но даже и всему меньшинству образованного общества.

Не могли также нравиться ни тому, ни другому встречающиеся в сочинении Поленова изображения крестьянского быта вроде следующего:

«Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея ни малой от законов защиты, подвержены всевозможным не только в рассуждении имения, но и самой жизни обидам, и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства; отчего неотменно должны они опуститься и прийти в сие преисполненное бедствий как для них самих, так и для всего общества состояние, в котором мы их теперь, действительно, видим».

Вот те истинные причины, по которым как комитет Вольноэкономического общества, так и само общество нашли сочинение Поленова резким и неприличным, и не позволили его напечатать.

Из всего сказанного нами читатель может видеть, каково было то лучшее меньшинство нашего образованного общества, на поддержку которого должна была рассчитывать императрица. <...>

<...> Как во время составления «Наказа», так и по его составлении еще до официальной передачи собравшейся комиссии для составления уложения, она показывала его разным образованнейшим лицам по ее выбору. Но «Наказом» никто из них не увлекся, кроме князя Орлова, который, по словам императрицы, не знал цены ее работе и требовал часто, чтобы она показывала ее тому или другому. Граф Никита Иванович Панин отозвался о «Наказе» таким образом, что подобными правилами можно разрушить здание. Тех же мыслей держалась, по-видимому, и предварительная комиссия, составленная из съехавшихся в Москву депутатов по выбору императрицы, для выслушания приготовленного «Наказа». Для заседания в этой комиссии нарочно были назначены, по выражению императрицы, лица весьма разномыслящие. «Тут, — говорит императрица, — при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины из того, что написано было мною, помарали, и остался наказ уложения, яко оный напечатан». Весьма сомнительно, чтобы все персоны, заседавшие в этой предварительной комиссии, были вполне согласны и со всем тем, что осталось в «Наказе» еще невымаранным. Но нельзя же было вымарать всего «Наказа», составленного самую императрицей! <...>

Замечательно, что для большинства именно образованного класса общества мысль об уничтожении пытки была ненавистна едва ли не в той же мере, как и мысль об уничтожении крепостного права. Мы уже видели выше, как автор *Размышления о неудобствах в России дать свободу крестьянам* и проч. причину крестьянских восстаний после пугачевского бунта приписывал тому, что участвовавшие в этом бунте были недовольно строго наказаны. Эта мысль автора *Размышления* имеет очевидную связь с распоряжением, которое императрица в 1774 году дала Бибикову¹⁵ относительно действий секретной комиссии по пугачевскому бунту. «Пожалуйста, прикажите, — писала она Бибикову, — секретной комиссии осторожно быть в разборе о наказании людей: при расспросах какая нужда сечь? Двенадцать лет тайная экспедиция ни одного человека при допросах не секла ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать»¹⁶. В комиссии для составления уложения именно в одних только наказах, представленных депутатами от дворянства, выставлено было требование «о произведении по-прежнему в городах ворами, и разбойниками, и смертоубийцам указанных пыток». Влияние большинства отразилось в этом случае и на лучшем меньшинстве. <...>

Итак, вот каково было то лучшее меньшинство образованного общества, на которое должна была опираться императрица.

<...> Императрица создала у нас литературу как общественную силу, всячески поддерживала ее, чтобы дать обществу средство говорить, сама учила его, как говорить. Самый способ реформ приняла такой, чтобы общество могло выразиться в них насколько может и хочет. Современные нам реформы были делом правительства. За исключением реформы крестьянской, они приготавливались органами правительства, и общество не привлекалось к их обсуждению, хотя ему и не запрещалось высказывать в известных границах свое мнение о некоторых проектах реформ. «Наказ» Екатерины был только программой, разработка и выполнение которой вполне предоставлялось обществу, избранным им депутатам со всей России. Обществу указаны были только начала, на основании которых должно было быть разработано новое законодательство.

Какой богатый и почтенный труд представлялся литературе XVIII столетия в разработке этого «Наказа», если бы в обществе было какое-нибудь политическое развитие. Здесь литература не нашла бы никаких из тех препятствий и неудобств, которые она встретила в направлении обличительно-сатирическом. «На-

каз», конечно, не был законом, но основные его начала не подлежали изменению. «Я запретила, — говорит императрица, — на оный иначе взирать, как единственно он есть, то есть правила, на которых можно основать мнение, но не яко закон и для того по делам не выписывать яко закон, но мнение основать на нем дозволено» *. Какие же это были начала, которые императрица дозволила даже к практическому руководству при решении дел? Это были начала тогдашней современной науки, это были начала почти те же самые, которые проповедует и за которые борется современная наука. Таким образом, в «Наказе» литература имела прочный и широкий фундамент для своих работ. К этому мы должны присовокупить, что «Наказ» не представлял собой maximum'a тогдашнего свободомыслия императрицы. Ибо мы уже видели, что «Наказ» в том виде, как мы его знаем, то есть печатный «Наказ», не содержал и половины того, что было в подлиннике, так как те просвещенные депутаты, которым императрица нашла нужным дать «Наказ» на предварительное рассмотрение, ужаснулись его вольномыслия и вымарали из него более половины **.

Что же? Как отнеслась литература к «Наказу»? Поняла ли она, что разработка вопросов, данных «Наказом», и есть ее настоящее дело, как истинно полезное для общественного развития, а не плетение виршей? Ничего подобного, никакого следа подобной попытки мы не встречаем в нашей литературе XVIII столетия. Напротив, литература отнеслась к «Наказу» так, как только и могла отнестись, по своему младенческому состоянию, чисто по-ребячески. Прославление милосердия, правосудия, мудрости монархини, громкие фразы о тиранах и т. п., вот чем обозначился «Наказ» в литературе XVIII столетия.

Более серьезное употребление из «Наказа» сделала литература сатирическая или обличительная. Став на точку зрения «Наказа» и руководствуясь его началами, она стала предавать осмеянию разные современные ей пороки и злоупотребления. Но действие сатиры в обществе неразвитом, крайне самолюбивом и щекотливом, как бывает со всяким обществом, пребывающим в самодовольном невежестве, не могло окончиться ничем другим, как преследованием и уничтожением самих сатириков, как оно действительно и случилось. К этому мы должны присовокупить, что русская сатира времен Екатерины даже и в тех узких

* Русский архив. 1865. № 4. С. 480.

** Там же.

пределах, в которых она могла действовать, действовала очень нередко с примечательной бестактностью, так что если бы не допустить в ней политической незрелости, то ее надобно бы было заподозрить прямо в неблагонамеренности.

Возьмем, например, самого лучшего из наших сатирических писателей, нашу звезду первой величины, блеском которой наслаждались не только современники Екатерины, но наслаждаются и многие доселе — мы разумеем Фонвизина, и посмотрим, в каком он отношении стоял к великим идеям императрицы?

Лучшие тогда люди в Европе, Вольтер, Д'Аламбер, Дидро, перед гением которых преклонялась вся Европа, были и единственными истинными друзьями Екатерины на троне. Они поддерживали императрицу в тех идеях и стремлениях ее молодости, для которых она не находила привета в России. Дидро, например, видевший княгиню Дашкову всего несколько раз, почел долгом поговорить с княгиней неоднократно о необходимости освободить крестьян в России из крепостного состояния. Странное дело! В то время, когда в России все хлопотали об утверждении крепостного права, француз, которому, по-видимому, не было никакого дела до России, хлопочет о свободе русских мужиков! Из каких видов? Для чего? Вот какими чертами описывает княгиня Дашкова Дидро: «Искренность и теплота его сердца, блеск гения, вместе с его вниманием и уважением ко мне, привязали меня к этому человеку на всю его жизнь, и даже в настоящую минуту я свято чту его память. Мир не сумел достойно оценить этого великого человека. Простота и правда проникали каждое его действие, и главная задача всей его жизни состояла в том, чтобы содействовать благу его ближних. Если он иногда увлекался заблуждениями, то никогда не шел против своих убеждений». Таков был Дидро. На его путешествие в 1773 году в Петербург, предпринятое им уже в преклонные годы, на его пребывание при русском дворе в течение пяти месяцев и каждодневную в это время беседу с императрицей мы не можем смотреть иначе, как на служение делу идеи. «Если бы я пожелал, — говорит он, — черпать полными пригоршнями в царской шкатулке, то, вероятно, дело от меня зависело; но я предпочел заставить молчать петербургских злоязычников и дать веру во мне парижским неверующим». «Я обвел щедрость императрицы самыми тесными границами». «Ничего не надеясь и не опасаясь, я мог говорить, как мне было угодно» *. Д'Аламбер своим бескорыстием был известен всей Европе.

* Фонвизин, соч. кн. Вяземского. 1848. С. 313—316.

Он отказался от чести быть воспитателем наследника русского престола, несмотря на настойчивые предложения императрицы Екатерины и громадные выгоды; точно так же отказался от предложения прусского короля занять место в берлинской академии. Из благодарности к своей кормилице, призревшей его в детстве, Д'Аламбер прожил с ней около тридцати лет, называя ее гласно своей матерью и довольствуясь скромным ее жилищем в то время, когда, по своей известности и связям, он мог бы иметь самую блестящую обстановку. Таковы были люди, вниманием, советом и дружбой которых дорожила императрица. Фонвизин, редкостнейший из русских либералов екатерининского времени, познакомившись с этими людьми во время путешествия своего за границу, нашел в них не более, как площадных шарлатанов. «Корыстолюбие, — пишет он в письме своем из Ахена Панину от 18 (29) сентября 1778 года, — заразило все состояния, не исключая самих философов нынешнего века. В рассуждение денег не гнушаются и они человеческой слабостью. *Даламберты, Дидероты* в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, а разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие». В частности, о Д'Аламбере Фонвизин говорит: «Из всех ученых более всех удивил меня Даламберт; я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиономию». О тщеславии, как французских философов, так и вообще ученых Фонвизин заключает из их ожесточенной борьбы за различные мнения. Видя, что русские писатели его времени жили между собой мирно и любовно и умели уважать и даже похваливать друг друга, несмотря на то, что один писал похвальные оды, другой комедии, третий драмы и т. п., Фонвизин не понимал, за что могли бы ссориться и французские писатели, если бы они были такие же хорошие люди, как и русские писатели. А так как они ссорились за такие пустяки, как *мнения*, за что русские писатели считали тогда стыдом ссориться, то Фонвизин отсюда и заключил, что люди очень дурные, тщеславные и вдобавок к тому не знающие никаких приличий. «Тщеславие их, — говорит Фонвизин, — простирается до того, что сама наука сделалась источником непримиримой вражды между семьями. Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля, ибо острога французского разума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля, и клясться перед светом, что Расин перед Корнелем, и брат его перед ним гроша не стоят. Вообще

ни один писатель не может терпеть другого и почитает праздником всякий случай уязвить своего совместника. При всей их премудрости нет в них и столько рассудка, чтобы осмотреться, как бесчестят себя сами, ругая друг друга, и в какое посмеяние приводят себя у тех, в коих хотят вселить к себе почтение»*.

Подобные взгляды так дики для нашего времени, что князь Вяземский, несмотря на свое сильное расположение к Фонвизину, нашел нужным беспристрастно показать всю нелепость подобного отношения Фонвизина к французским философам XVIII века. Рассуждение об этом предмете составляет одно их лучших мест в сочинении князя Вяземского о Фонвизине, и мы можем пожалеть только, что князь Вяземский оставил при этом без рассмотрения вопрос о том, в какой мере солидарны были эти взгляды Фонвизина на французских философов и писателей с воззрениями вообще тогдашнего русского общества. Фонвизин был за границей в 1777 году, то есть спустя три года после пребывания при нашем дворе Дидро. Ему, конечно, было хорошо известно то внимание, которым пользовался Дидро у императрицы, а равно и вообще ее уважение к французским философам. Очевидно, что Фонвизин не решился бы высказать своего резко противоречащего воззрениям императрицы взгляда в письмах к Панину, если бы сам Панин более или менее не разделял этого взгляда. В отзывах Фонвизина мы можем видеть взгляд Паниных и вообще старорусской партии, косо взиравшей на новые идеи науки, проводимые императрицей. Императрица в помянутом нами выше «своем рассказе о первых пяти годах своего царствования» пишет, что когда она показала некоторые части своего «Наказа» Никите Ивановичу Панину, то он заметил: «*ce sont des axiomes à renverser des murailles*» (такими правилами разрушают здания)**.

Мы сочли нужным прежде всего выяснить взгляд Фонвизина на французских философов, потому что взгляд этот лучше всего характеризует меру умственного уровня Фонвизина и показывает ясно его отношение к идеям современной ему науки, а следовательно, к идеям «Наказа».

Действительно, из сочинений Фонвизина, тщательно напрысканных благовониями либерального острословия, всюду отдает тем гнилым и удушливым запахом ретроградной русской партии, против которого именно был направлен «Наказ».

* Соч. Фонвизина, изд. Смирдина. 1847. С. 301—307.

** Русский архив. 1865. № 4. С. 480.

Императрица, например, говорит в своем «Наказе», что дворянство не есть какое-нибудь замкнутое сословие, что оно приобретает добродетелью, соединенной с заслугами, следовательно, может быть достигнуто каждым.

Фонвизин относительно дворянства стоит на точке зрения исключительных родовых привилегий. Он не хочет, чтобы звания дворянина были удостоиваемы люди, которых отцы не были дворянами, даже думает, что по самой природе своей они неспособны носить такое звание. Вот, например, как он отзывается о товарище своем по службе (у кабинет-министра Елагина) Лукине, таком же чиновнике, как и он, и писателе в некоторых отношениях гораздо замечательнейшем Фонвизина, но который имел несчастье быть не дворянского происхождения и недолго любил Фонвизина. «Иван Перфильевич (Елагин), — так пишет Фонвизин в одном письме своим родителям (от 26 июня 1766 года), — ежедневно показывает мне знаки своей милости; по крайней мере ныне не имею я того смертельного огорчения, которое прежде чувствовал от человека, коего и самая природа и все на свете законы сделали ниже меня, и который, несмотря на то, хотел не только иметь надо мной преимущество, но еще и править мною так, как обыкновенно правят честными людьми (то есть дворянами, см. ниже) многие твари одинакой с ним природы. Иван Перфильевич, будучи сам благородный и честный человек, раскаивается в прежнем своем поступке с Лукиным и поклялся впредь не производить в чины никого из тех, *которых отцы и предки в свой век чинов не имели, и родились служить, а не господствовать*» *.

Исходя из той мысли, что одни самой природой предназначаются к господству, а другие самой природой же обрекаются на рабство, Фонвизин самым правильным политическим устройством государства почитает то, где одни пристроены для вечного господства, другие для вечного рабства; дело мудрой политики должно состоять только в том, чтобы соразмерить число господствующих с числом рабствующих.

<...> То, что мы сказали о Фонвизине, как политике, может быть почти вполне приложено ко всем литераторам тогдашнего времени. Даже княгиня Дашкова, женщина замечательно образованная и знакомая с современной тогдашней философией, доказывала Дидро пользу и необходимость крепостного права в России. Что касается до друга Фонвизина, Державина, то последний был вполне согласен с Фонвизиним, как относительно

* Соч. Фонвизина, изд. Смирдина. С. 623.

того, то дворянин должен заботиться не столько о приобретении знаний, сколько о приобретении души, и что последнюю всего легче приобрести и сохранить в полках и канцеляриях, чем где-нибудь, так и относительно того, что рабы необходимы для благосостояния всякого общества, и что вся мудрость управления должна состоять только в том, чтобы соразмерять число рабствующих с числом господствующих. Известны две его знаменитые борьбы, которые, в звании министра юстиции и генерал-прокурора при императоре Александре, вел он не только с Сенатом, но даже с самим государем: одну из-за указа о свободных хлебопашцах, другую — за принятое Сенатом мнение графа Потоцкого об освобождении молодых дворян от обязательной двенадцатилетней службы в унтер-офицерских чинах. Защищая свои отсталые воззрения, Державин, относительно своих противников, прибегал к тому же недостойному приему, к какому у нас и доселе не стыдятся прибегать люди ему подобные, то есть взводил на них обвинение в государственной измене, называл врагами отечества, самодержавия, революционерами, готовящими гибель государству, и т. п.

По доселе сказанному нами читатель может судить, как одинокою стояла императрица в современном ей обществе с своими либеральными начинаниями. Она лично также не нашла поддержки своим идеям и стремлениям, как и Петр Великий; но ее борьба была гораздо труднее. Ее личное положение было совсем другое, чем Петра Великого, и притом борьба, которую она должна была вести, была гораздо внутреннее, духовнее, чем борьба последнего. Ей надобно было иметь дело исключительно с общественной мыслью, на которую можно было действовать только мыслью же и которой нельзя было изменить ни регламентами, ни указами. Вот почему Петр до конца остался верен своим первоначальным идеям и начинаниям, и с распростертыми объятиями принимал новых людей, им самим приготовленных; Екатерина, уступая мало-помалу напору общественной мысли, с которой не имела средств бороться, вышла, наконец, на путь, мало соответствовавший первоначальной программе ее царствования, и вместе с тем изменилась в своих отношениях к людям, воспитанным в ее собственных идеях.

Все это, конечно, очень грустно, тем не менее, за императрицей Екатериной навсегда и бесспорно останется имя великой, как первой насадительницы у нас идей истинно европейской цивилизации и культуры. Семена, брошенные ею в первые годы ее царствования, не исчезли бесследно. Они дали всход и плод. Сама императрица, даже в то время, когда отказалась

в своей собственно законодательной деятельности от идеалов своей молодости, как совершенно неисполнимых для ее времени, твердо верила, однако ж, что когда-нибудь придет время их исполнения, и только тогда Россия будет счастлива. В таких именно надеждах и верованиях был воспитан ею внук Александр. Питомцы Екатерины же были и те люди, которые окружали его престол и были деятельнейшими его помощниками при начале его царствования. Сама императрица в своей личной деятельности, несмотря на постепенно все более и более возраставшую в ней перемену к первоначальным идеям ее молодости, старалась, насколько то казалось ей возможным, не отступать от них. Так, граф Сегюр рассказывает, что императрицу только с трудом уговорили подписать приговор о смертной казни Пугачеву* (Пугачев казнен 10 января 1775 года). Так, в 1788 году, когда императрица стала не доверять распространявшемуся просвещению, и в особенности просветительной деятельности Новикова, о котором она прямо сказала Храповицкому: «*c'est un fanatique*», она ограничилась только тем, что не велела отдавать ему в аренду московской университетской типографии, но не касалась лично ни его самого, ни его деятельности, тем более дозволенной свободы печати вообще и учреждения вольных типографий. И хотя в это время существовал уже страшный Шешковский, и императрица имела полное понятие о его талантах, но она не давала еще полного ходу его ревности. Так, отдавая ему для разбора письма Пашковой (1787), она некоторые из них сожгла собственноручно, боясь излишнего усердия Шешковского**. Только с 1789 года, то есть со времени революции, и в особенности со времени казни Людовика XVI, императрица принимает открыто и прямо образ действий, совершенно противоположный идеалам ее молодости. Но и то, впрочем, не вдруг. Закрывание вольных типографий, установление цензуры было уже одним из последних распоряжений императрицы Екатерины. Заметим при этом, что даже Радищев, издавший в это тревожное время книгу, которой была глубоко оскорблена императрица, и которого она называла перед Храповицким бунтовщиком хуже Пугачева, был, вместо смертной казни, к которой приговорил его суд, сослан на 10 лет на житье в Илимский острог.

Вот почему самое царствование императрицы, при всем несоответствии его с первоначальной программой, провозглашенной

* Записки графа Сегюра. С. 19.

** Записки Храповицкого. С. 121—143.

императрицей в «Наказе», не может идти ни в какое сравнение с предшествовавшими царствованиями по той безопасности, спокойствию, уверенности в своей целости на завтрашний день, которыми пользовался всякий. Это, по-видимому, было немного, но в самом деле было очень много, если вспомним, что в предшествовавшие царствования наше общество не всегда пользовалось этими благами. Императрица не переменила законов до ее царствовавших, но ее личные гуманные воззрения в связи с сохранившимся в ней некоторым уважением к провозглашенным ею самой началам давали другой вид всему. Всякий знает, как во всяком монархическом правлении быстро смягчается острота самых строгих законов и суровость их исполнителей от личных воззрений и отношений монарха. В царствование Екатерины в первый раз русское общество стало чувствовать себя легко и свободно. Вот почему ни об одном царствовании современники не отзывались с таким восторгом, как о царствовании Екатерины. Император Александр I действительно обрадовал всех, когда в манифесте своем о восшествии на престол объявил, что он будет править Богом врученным ему народом по законам и сердцу премудрой бабки своей Екатерины Великой, и вслед за тем, как бы разъясняя истинные желания своей бабки, освободил всех содержавшихся по делам тайной экспедиции в крепостях и сосланных в Сибирь или отдаленные города и деревни под надзор местных властей и уничтожил саму тайную экспедицию.

Таким образом, «Наказ» императрицы не остался ничего незначущим лоскутом бумаги, как думают некоторые. Он бросил массу новых идей в общество, в которых воспиталась новая порода людей, действовавших при императоре Александре. В началах его был воспитан император Александр, давший новое направление нашему законодательству. Во время самой императрицы «Наказ» был некоторым оплотом той дозы свободы, которой пользовались общество и литература почти во все ее царствование.

Обратимся теперь к рассмотрению самого «Наказа».

«Наказ» не есть какой-нибудь связный законодательный кодекс. Он, как показывает и само название его, есть не более как инструкция, данная Екатериной в руководство при составлении законов, — инструкция, выясняющая взгляд императрицы на разные начала и предметы права государственного, уголовного, гражданского и т. п. Естественно, что в своем «Наказе» императрица должна была говорить или о тех предметах, на которые она имела взгляд новый от общепринятого, или о тех, кото-

рые по обстоятельствам времени казались ей требовавшими особенного внимания и разъяснения. Поэтому хотя «Наказ» заимствован и из иностранных источников, в особенности из Монтескье и Беккариа, но этими заимствованиями руководили насущные потребности русского общества.

Самое значительное место дано в «Наказе» разъяснению понятий о предметах уголовного законодательства, ибо «вольность гражданина — по словам «Наказа» — ни от чего не претерпевает большего нападения, как от обвинений судебных или сторонних (частных) вообще» (ст. 466). Потому на этой части «Наказа» остановимся и мы, чтоб познакомиться с его духом и направлением.

«Гораздо лучше, — говорит «Наказ», — предупредить преступления, нежели наказывать» (ст. 240).

«Предупредить преступления есть намерение и конец хорошего законодательства, которое есть не что иное, как искусство приводить людей к самому совершенному благу или оставлять между ними, если всего искоренить нельзя, самое малейшее зло» (ст. 241).

«Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб законы меньше благоденствовали разным, между гражданами, чинам, нежели всякому гражданину особо. Сделайте, чтоб люди боялись законов и никого, кроме их, не боялись» (243, 244).

«Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми» (245).

«Еще можно предупредить преступления награждением добродетели» (247).

«Наконец, самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими, есть приведение в совершенство воспитания» (248).

Итак, по взгляду «Наказа», преступление в обществе есть нечто случайное, нечто такое, что самим же обществом может быть уничтожено или, по крайней мере, доведено до самых ничтожных размеров. И если этого не сделано в каком-нибудь обществе доселе, то, очевидно, что в этом виновна не частная воля, совершающая преступление, а само общество, не устранившее условий, порождающих и питающих преступление. Спрашивается: какое же право имеет общество наказывать преступления? К этому вопросу приходит и «Наказ».

«Откуда, — говорит он, — имеют начало свое наказания и на каком основании утверждается право наказывать людей?» (144).

«Законы, — отвечает он, — можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы

общество разрушилось. Но не довольно было уставить сии способы, кои сделались залогом (общества), надлежало и предохранить оный: наказания установлены на нарушителей» (145, 146).

«Всякое наказание несправедливо, как скоро оно не надобное для сохранения в целости сего залога» (147).

«Когда бы жестокость наказания не была уже опровергнута добродетелями, человечество милующими (т. е. если б жестокость наказаний не была бы противна человеколюбию), то к отриновению оныя довольно было бы и сего, что она бесполезна; и сие служит к показанию, что она несправедлива» (150).

«Намерение установленных наказаний не то, чтобы мучить тварь, чувствами одаренную; они на тот конец предписаны, чтоб воспрепятствовать виноватому, дабы он впредь не мог вредить обществу и чтоб отвратить сограждан от соделания подобных преступлений. Для сего между наказаниями надлежит употреблять такие, которые, будучи уравнены с преступлениями, впечатлели бы в сердцах людских начертание самое живое и долго пребывающее, и в то же время были бы меньше люты над преступниковым телом» (205).

«Гражданская вольность тогда торжествует, когда законы на преступников всякое наказание выводят из особенного каждому преступлению свойства. Все произвольное в наложении наказания исчезает. Наказание не должно происходить от прихоти законоположника, но от самой вещи, и не человек здесь должен делать насилие человеку, но собственное действие человека» (67).

Разделив затем все преступления на четыре разряда: 1) на преступления против закона или веры; 2) против нравов; 3) против тишины и спокойствия, и 4) против безопасности общественной — «Наказ» для первых трех родов преступлений считает достаточными наказаний исключительно *исправительных*, и только для последнего рода наказания *уголовные*.

Преступления против *веры* или *закона*, называемые в «Наказе» святотатством, должны быть, по «Наказу», наказываемы лишением тех выгод, которые нам дарует вера, то есть изгнанием из храмов, исключением их собрания верующих на время или навсегда, удалением от их присутствия (74).

Преступления против нравов должны наказываться «*лишением* выгод от всего общества присоединенных к чистоте нравов, денежным наказанием; стыдом или бесславием, принуждением скрываться от людей, бесчестьем всенародным, изгнанием из города или общества» (77).

Преступления против спокойствия и тишины граждан должны наказываться лишением сего спокойства, ссылкой, исправлениями и другими наказаниями, которые беспокойных людей возвращают на путь правый и приводят их опять в порядок установленный (78).

Только преступления последнего рода, то есть против безопасности общественной, подлежат, по «Наказу», наказаниям уголовным. Как высшее в числе этих наказаний, «Наказ» допускает наказание телесное, но при этом отвергает, как все те наказания, «которыми можно изуродовать человеческое тело», так с особенной силой и красноречием вооружается против смертной казни (96, 211).

Высшее из преступлений против безопасности общественной, по «Наказу», есть оскорбление величества. Не выделяя наказаний за это преступление из ряда других того же рода, «Наказ» посвящает особую главу разъяснению этого преступления, и делает это на том основании, что «свободе граждан угрожала бы великая опасность, если бы столь важный пункт не был точно разъяснен в законе».

Точное разъяснение этого пункта было в то время, как мы знаем, необходимо по тогдашнему азиатскому взгляду общества на оскорбление величества.

Известно, сколько слез, бедствий и всякого зла причинило России ужасное *слово и дело*, тяготевшее над ней в продолжение полувека. Петр III указом от 21 февраля 1762 года уничтожил тайную канцелярию с наводившим трепет на всех словом и делом; императрица через 9 месяцев после этого (19 октября) нашла нужным снова повторить указ Петра III. Но этого было недостаточно, чтобы уничтожить зло. Общество, воспитанное в своих понятиях об оскорблении величества, под ферулой страшного слова и дела, имело самое темное представление о существе этого преступления и находилось в запуганном состоянии. А между тем корыстолюбие, месть, лакейство распложили в обществе охотников отыскивать это преступление во всем. «Наказ» справедливо говорит, что «если преступление в оскорблении величества даже и описано в законах, но словами неопределенными, то уже довольно из сего может произойти различных злоупотреблений».

С исчисления этих злоупотреблений «Наказ» и начинает слово о преступлении против оскорбления величества.

«Китайские законы, например, — говорит он, — присуждают, что если кто почтения государю не окажет, должен казнен быть смертию. Но как они не определяют, что есть неоказание

почтения, то все может там дать повод к отнятию жизни, у кого захотят, и к истреблению поколения, чье погубить пожелают. Два человека, определенные сочинять придворные ведомости при описании некоторого совсем неважного случая, поставили обстоятельства с истиною несходственные; сказано на них, что лгать в придворных ведомостях не что иное есть, как должного почтения двору не оказывать, и казнены они оба смертию».

«Некто из князей на представлении, подписанном императором, из неосторожности поставил какой-то знак: *заклучили из сего*, что он должного почтения не оказал богдыхану. *И сие причинило* всему сего князя *поколению* ужасное гонение» (470).

«Закон римских кесарей как с святотатцами (богохульниками) поступал с теми, кои сомневались о достоинствах и заслугах людей, избранных ими к какому ни есть званию, следовательно и осуждал их на смерть» (471).

«Другой закон тех, которые делают воровские (фальшивые) деньги, объявлял виноватыми в преступлении оскорбления величества. Но они не что иное суть, как воры государственные» (472).

«Еще между римскими законами находился такой, который повелевал наказывать, как преступников в оскорблении величества, тех, кои из неосторожности бросили что-нибудь пред изображениями императоров» (475).

«В Англии закон один почитал виновными в самой высочайшей измене всех тех, которые предвещают королевскую смерть. В болезни королей врачи не смели сказать, что есть опасность; можно думать, что они поступали посему и в лечении» (476).

«Человеку снилось, что он умертвил царя; сей царь приказал казнить его смертию, говоря, что не приснилось бы ему сие ночью, если бы он о том днем наяву не подумал. Сей поступок был великое тиранство, ибо если бы он то и думал, однако ж, на исполнение мысли своей еще не поступил; законы не обязаны наказывать никаких других, кроме внешних или наружных действий» (477).

Перечислив эти примеры, «Наказ» говорит:

«Когда введено было много преступлений в оскорблении величеств, то и надлежало непременно различить и умерить (определить) сии преступления. Так наконец дошли до того, чтобы не почитать за такие преступления кроме тех только, кои заключают в себе умысел против жизни и безопасности государя и измену против государства и тому подобные» (478).

Так как, по определению «Наказа», оскорблением против величества может почитаться только действие, то «слова не вме-

няются никогда в преступление, разве они приуготовляют, или соединяются, или последуют действию незаконному». «Таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении величества, потому что слова совокуплены с действием и заимствуют нечто от оногo. В сем случае не за слово наказуют, но за произведенное действие, при котором слова были употреблены» (480).

«Письма (то есть сочинения, *Schriften, les écrits*) суть вещь не так скоро преходящая, как слова; но когда они не приуготовляют к преступлению оскорбления величества, то и они не могут быть вещью, содержащей в себе преступление в оскорблении величества» (483).

«Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные; но оные делаются предлогом, подлежащим градскому чиновправлению, а не преступлением, и весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение, а сие ничего иного не произведет, как невежество, отвергнет дарования разума человеческого, и охоту писать отнимет» (484).

Не меньшее внимание «Наказ» обращает и на формальную сторону уголовного законодательства и старается утвердить и здесь гуманные и твердые начала. Он требует, чтобы закон точно и подробно определил случаи, когда могут быть производимы аресты при следствии, чтобы ни один арест не мог производиться произвольно, чтобы каждое подобное арестование, сделанное и в согласность закону, «длилось сколь возможно меньше и было столь снисходительно, как можно»; он восстает против всяких пристрастных допросов при следствии и с особенной силой вооружается против пытки, находя ее делом бессмысленным, вредным и жестоким; он восстает наконец против наряда всяких чрезвычайных, особых, вне обыкновенного порядка судопроизводства, судов, признавая их делом совершенно бесполезным и даже вредным. «Самая бесполезная вещь государям в самодержавных правлениях есть наряжать иногда особливых судей, судить кого-нибудь из подданных своих. Надлежит быть весьма добродетельным и справедливым таковым судьям, чтобы они не думали, что они всегда оправдаться могут их (государей) повелениями, скрытной какой-то государственной пользой, выбором в их особе учиненным, и собственным их страхом. Столь мало от таковых судов происходит пользы, что не стоит сие того труда, чтобы для того превращать порядок суда обыкновенный» (489). «Еще же может сие произвести злоупотребле-

ния, весьма вредные для спокойствия граждан. Пример сему здесь предлагается. В Англии при многих королях судили членов верхней камеры, чрез наряженных из той же камеры судей; сим способом предавали смерти всех, кого хотели из того вельмож собрания» (490).

Для судебных приговоров, равно как вообще для судебного процесса, «Наказ» требует полной гласности. «Приговоры судей, — говорит он, — должны быть народу видимы, так как и доказательства преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитою законов: мысль, которая подает гражданам ободрение и которая больше всех угодна и выгодна самодержавному правителю, на истинную свою пользу прямо взирающему» (183).

Еще большим злом, чем жалкое состояние правосудия, было во время императрицы крепостное право. Мы уже видели, что императрица не имела возможности восставать против этого зла с той прямою и силой, как бы она хотела. Тем не менее косвенно всюду, где только представлялась возможность, «Наказ» касается этого предмета и дает понять истинное желание императрицы. В главе XI, трактующей о «порядке в гражданском обществе», императрица говорит: «Мы должны избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет, и то не для собственной корысти, но для пользы государственной; однако и та едва ли не весьма редко бывает» (253). В главе XIII о рукоделии и торговле императрица говорит: «не может земледельство процветать тут, где никто (вместо этого в немецком: *der Ackermann*, во французском: *le cultivateur ou laboureur*) не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом: всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой от него отымет» (295, 296).

На этом основании в особом наставлении, данном комиссии в 1768 году, императрица, предоставляя рассмотрению самой комиссии, дать свободу крестьянам или нет, требует, однако ж, во всяком случае настоятельно, чтобы она обратила внимание на ст. 261 «Наказа», в которой говорится: «законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества» (*Die Gesetze können dadurch etwas Gutes stiften, wenn sie den Leibeigenen ein Eigenthum bestimmen*), то есть императрица хотела, чтобы в случае оставления крестьян в прежнем крепостном состоянии за ними утверждено было право иметь свою собственность.

Рассматривая крепостное состояние как факт существующий, «Наказ» находит нужным принять самые строгие меры против господ, жестоко обращающихся с своими крепостными. «Петр I, — говорит он, — узаконил в 1722 году, чтобы безумные и подданных своих мучающие были под смотрение опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, и последняя для чего без действия осталась — неизвестно» (256). Вместе с этим «Наказ» требует, чтобы комиссия сделала такие законы, «которые отнимали бы все способы пропитания у тех, кои не будут трудиться. Всякий народ ленивый, — говорит он, — надмен в своем поведении; ибо нетрудящиеся почитают себя некоторым образом властелинами трудящихся» (303, 304).

Далее «Наказ» входит в ближайшие отношения помещиков к крепостным и требует определить эти отношения так, чтобы они не расстраивали государственного благосостояния.

«Кажется еще, — говорит он, — что новозаведенный способ от дворян сбирати свои доходы уменьшает народ и *земледелие*; все деревни почти на оброке. Хозяева, не быв вовсе или мало в деревнях своих, обложат каждую душу по рублю, по два и даже до пяти рублей, несмотря на то, каким образом их крестьяне достают сии деньги» (269).

«Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтобы они с большим рассмотрением располагали свои поборы, и те поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дома и семейства: тем бы распространилось большее земледелие и число бы народа в государстве умножилось» (270).

«Страна, которая податями столь много отягчена, что рачением и трудолюбием своим люди с великой нуждой могут найти себе пропитание, через долгое время должна быть обнажена жителей» (275).

«Где люди не для чего иного убоги, как только что живут под тяжкими законами и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог к удручению, в таких местах народ не размножается. Они не могут сами в своих болезнях надлежащим пользоваться присмотром; так как же можно им воспитывать твари, находящиеся в непрерывной болезни, то есть младенчестве? Они закапывают в земли деньги свои, боясь пустить оныя в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтобы богатство не навлекло на них гонения и притеснений» (276).

«Многие, пользуясь удобностью говорить, но не будучи в силах испытать в тонкость о том, о чем говорят, сказывают: *чем в большем подданные живут убожестве, тем многочисленнее их*

семьи. Также и то: чем большия на них положены дани, тем больше они приходят в состояние платить оныя. Сии суть два мудрования, которые всегда пагубу наносили, и всегда будут причинять погибель самодержавным государствам» (277).

Наконец, как относительно народа «Наказ» требует, чтобы не было ни одной семьи, не имеющей определенного принадлежащего ей участка земли, рекомендуя в этом случае, по примеру римлян, «разделить земли всем семьям, которые никаких не имеют, подать им способы вспахать оные и обработать» (280), так относительно дворянских имений требует, чтобы они не сосредоточивались в немногих руках. «Мое намерение в сем деле, — говорит императрица в XVIII главе «Наказа» о наследствах, — склоняется больше к разделению имения, понеже я почитаю себе за долг желать, чтобы каждый довольную часть на свое пропитание имел. Сверх сего земледелие таким образом может прийти в лучшее состояние, и государство чрез то большую получит пользу, имея несколько тысячей подданных, наслаждающихся умеренным достатком, нежели имея несколько сот великих богачей» (425).

Читатель видит, каким богатством идей, самых светлых и самых плодотворных для общественного развития, блистает «Наказ» Екатерины, и, конечно, пожалеет вместе с нами, что этот памятник находится у нас в крайнем небрежении и неизвестности. <...>

